

Николай Семенович Лесков

Импровизаторы (Картинка с натуры)

Лесков Николай Семенович
Импровизаторы (Картинка с
натуры)

Н.С.Лесков

Импровизаторы
(Картинка с натуры)

Приходи, моя милая крошка,
Приходи посидеть вечерок.

А. Фет.

Одни представляли ее
себе в виде женщины,
отравляющей воду, другие
в виде запятой. Врачи
говорили, что надо убить
запятую, а народ думал,
что надо убить врачей.

С. Смирнова ("Нов. вр.",
18 ноября 1892).

I

Остроумная писательница, из последнего литературного этюда которой я выписал этот эпиграф, обрисовывает дело чрезвычайно верно. Когда летом 1892 года, в самом конце девятнадцатого века, появилась в нашей стране холера, немедленно же появилось и разномыслие, что надо делать. "Врачи говорили, что надо убить запятую, а народ думал, что надо убить врачей".

Следует добавить, что народ не только так "думал", но он пробовал и приводить это в действие. Несколько врачей, старавшихся убить запятую для лучшей пользы делу, были сами убиты.

Это случилось, говорят, оттого, что простым людям всего своевременно и терпеливо не объяснили и, главное, не показали им нигде эту самую "запятую", чтобы они видели, как она им вредит. Это, может быть, и в самом деле хорошо было бы показать, но только сделать это было очень трудно: запятая видима только под микроскопом, а в слободах и селениях, где живет "народ по преимуществу", микроскопов (или "мелкоскопов") нет. Поэтому нельзя удивляться, что народу, который впервые услышал про "запятую", вести о ней показались сомнительными. Народ довольно приучен не верить ученым, и он смекнул, кому эта выдумка о "запятой" могла быть выгодна, и порешил наказать лекарей за их выдумку.

В столицах, где образованность несравненно выше, науке оказано совсем иное доверие: здесь запятую видели увеличенную под мик-

роскопом, засушенную и выставленную на окне "в квартире известного журналиста, живущего на окраине города". Об этом было напечатано в петербургской газете, особенно следящей за разнообразными явлениями столичной жизни.

"Журналист, проживающий на окраине", демонстрировал "запятую" множеству людей, между которыми были особы достопримечательного положения. Вид козявки всех удивлял; большинство людей отбегали от нее в страхе, и лишь немногие поддавались успокоительным уверениям журналиста, что "запятая обезврежена", и тогда брали ее в руки.

Так образованным жителям столицы не было никакого труда уверовать в "запятую"; но слободским и деревенским мужикам никто этого не показал, и они в запятую не поверили и до сих пор еще не верят.

II

Рассказанный случай с "увеличенной занятою" газета объясняла так, что журналист, живущий на окраине, "купил шутки ради курьезную японскую козявку", а когда один генерал спросил его, что это такое, - он, по вдох-

новению, сказал, что это "увеличенная и засушенная запятая". Генерал этому поверил, а журналист стал пробовать: неужто и другие образованные люди могут верить такой очевидной нелепости, И оказалось, что все этому верили!

Если сопоставить то, что замечено г-жою Смирновой насчет несоответствия народных взглядов на "запятую", с тем, что журналист, живущий на окраине, обнаружил в людях высшего порядка, то выйдет, что степень легковерия и безрассудства на том и на другом конце общественной лестницы получается как бы одинаковая; но вверху действует козявка засушенная, а по низам ползет что-то живое, и не заморское, а простое доморощенное.

Что же такое заменяло и заменяет засушенную "запятую" в народе? Я попробую показать эту штуку так, как я ее видел.

Тургенев изобразил, как говорит с простолюдином интеллигент и раскольничий начетчик. У первого все умно направлено к делу, а второй вертит "яко" да "аще", и смотришь - этого слушают, а того нет. Малороссу,

чтобы его растрогать, надо, чтобы ему свой брат сказал: "граю и воропаю". Я сам помню, как в давние времена в Киеве польский актер Рекановский играл роль в какой-то малороссийской пьесе, где после происшедшего в семье горя жена начинает выть, а муж бросает ее за руку на пол и говорит: "Мовчи, бо скорбь велика!" И после этих слов настала пауза, и театр замер, а потом из райка кто-то рыдающим голосом крикнул: "Эге! це не ваш Шекспыр!" И мнение о Шекспире было понижено до бесконечности.

Надо сочинять что-то такое "дуже простое", чтобы было в их вкусе - с дымком и с грязью, даже, пожалуй, с дуриной.

III

Летом 1892 года я жил на морском берегу в Шмецке. Тяжко больной, я был далек от личного участия в делах, и даже равнодушно читал в газетах энергические приказы генерала Баранова, но потом мне стало интересно сравнивать их с приказами других администраторов, которые ему подражали и блистали только отраженным или заимствованным светом. Из этой литературы я узнавал, что появились

люди, которые распускают вредные слухи о болезни, и что нижегородский генерал таких людей сечет розгами и может когда угодно повесить.

Меры генерала Баранова "в наказании разговоров" производили в большой публике впечатление не особенно сильное и неясное; многие не могли взять в толк: отчего одного разговорщика довольно только высечь, а другого надо еще отдать в санитары, а третьего - "повесить" или, по простонародному выражению, "удавить". Какое тут "распределение всеобщей провинности"? Многие думали, что все это последовательно будет сделано над каждым охотником разговаривать, то есть что разговорщика сначала высекут, потом определяют "горшок выносить", а потом уже, когда он станет ни к чему не способен, тогда дадут ему глухую исповедь и удавят на площади. О самом повешении тоже разноречили: одни были уверены, что "вешать будут только для испуга публики", а потом "курьера выпустят с прощадюю", а другие уверяли, что "это не для шутки и никакой прощады не будет, а удавят как следует", отмена же против обыкновения

будет только в том, что, "по давлении разговорщика, отдадут одного родственникам для его погребения". Возникал тоже вопрос о женщинах: "как такую сечь, если разговаривает, а сама беременна?" По множеству всех этих сомнений мы столку сбились и спрашивали разъяснений у четырех отставных губернаторов, которые в это лето ходили у нас по пляжу, но они были заняты своим положением и говорили, что ничего не понимают.

Видаюсь со своими соседями - кузнецом, лавочником, лесником - и с своими домохозяйками, я заметил, что они недоумевают: "Какие же это вредные слова бывают?" Этому им никто объяснить не мог, а им это было очень нужно знать.

- Ведь вот, - говорили они, - может случиться, что-нибудь такое умственное услышишь и не поймешь в необъяснении случая, и скассируют насмерть! Мы не можем узнать агитатора!

Это так говорил лавочник, образованный и красноречивый человек, с ораторскими дарованиями которого мы ниже еще познакомимся.

То, что предвидел лавочник, то и на самом деле отчасти случилось.

Раз, когда я шел домой леском из Мерекюля, нагоняет меня няня из одного моего знакомого семейства и говорит, что "в Петербурге уже народ отравляют".

Я ее отговариваю, чтобы она этому не верила, и напоминаю ей про опасность от генерала Баранова; но она не обращает на мои предостережения никакого внимания и говорит, что то, что она знает, это тоже произошло от генерала. - Ну, - говорю я, - если от генерала, то в таком случае рассказывайте, что вам известно... Но только смотрите, уверены ли вы, что это точно от генерала?

- От генерала.

И она рассказала историю, которую я здесь передам с возможною точностью.

IV

Живет у рынка отставной генерал. От команды отставлен, но военных прав не лишен и ходит в военном образце с поперечиной. На дачу он не любит ездить, а остается в Петербурге, потому что веселого характера и любит разъезжать по знакомым, а вечером на закат

солнца смотрит и слушает, как поют француженки. Он пожилой, но очень веселый, и все бы ему с дамами да с красотками; а жена у него старушка, с ним не живет. Прислуги у него три человека, мужчины: камердинер, повар и буфетчик, и все ему верные, потому что им жить у него прекрасно; гости часто в карты играют, и приходимые красотки жалуют, и тогда уже ни в чем нет сожаления. И теперь же, на этих днях, поехал этот генерал в "Аркадию" или "Ливадию" и пробыл там до последнего времени, а потом поехал домой в простом намерении раздеться, божиньке помолиться и бай-бай заснуть; но только что он хотел в дверь свой ключ вставлять, как вдруг запятая! Сама дверь распахнулась, и на него вылетает оттуда его буфетчик, бледный, как шут Пьеро, и лопочет незнамо что.

Генерал подумал, что, верно, он немножко винил или тоже приходимую крошку ожидает, а тот ему отвечает: "Никак нет, ваше превосходительство; а у нас огромное несчастье: вашего камердинера умирать увезли". Генерал рассердился. "Как, без меня? Как смели?.. Говори скорей, как это сделалось?"

Буфетчик дрожит и путается языком, но рассказал, что камердинер, проводивши генерала, совсем был здоров и ходил на рыбный садок, себе рыбу купил, а потом пошел к графу Шереметеву к второму регента помощнику спевку слушать а оттуда на возврате встретил приходимую бедную крошку, и принял ее, и с нею при открытом окне чай пил, а когда пошел ее провожать, то вдруг стал себя руками на живот брать, а дворники его тут же подхватили под руки, а городской засвистел - и увезли. Он не хотел ехать и не давался - кричал:

- Прощайте, други!.. Ваше превосходительство, заступитесь! - Но они его усадили и неизвестно куда увезли.

- Ах, несчастный! - сказал генерал и, расстроганный до слез, сейчас же поехал к обер-полицеймейстеру. Но его там не приняли: говорят: "Есть приемные часы - тогда можете!" Он - к приставу, и пристав нет. "Где же он?" - "Помилуйте, - говорят, - по участку ходит!" - "Кого же я могу видеть?" "А вот дежурный за стенкой". Выходит из-за стенки дежурный офицер, застегивает на себе мундирный сюр-

тук и спрашивает: "Что угодно?"

Генерал ему все и передает: "Так и так, мой камердинер, на руках которого вещи, серебро и весь дом, а его в мое отсутствие взяли и увезли без извещения меня, как будто какого-нибудь учебного рассуждателя. Прошу мне его сейчас вернуть".

А полицейский говорит: "Я этого не могу, потому что его у нас нет; мы его еще в двенадцатом часу в больницу отправили".

Генерал обругал его как не надо хуже и вскочил опять на извозчика и все извозчика после этого вслед скорей подгоняет.

А извозчик догадался, для чего он ездит, и говорит:

- А осмелюсь спросить: которого часа вашего человека взято?

Генерал говорит:

- О полуночи.

- Ну так теперь, - говорит, - ему уже аминь.

- Что ты вздор говоришь!

- Помилуйте, какой же вздор! Теперь они ему уже струменцию запустили.

- Ты глупости говоришь.

А извозчик полуоборотился и крестится

рукой, а сам шепчет:

- Ей-богу, ей-богу, - говорит, - ведь они теперь всех струменцией пробуют. Сначала начнут человека в ванной шпарить и кожу долой стирать, и притом в рот лекарства льют; а которые очень крепкого сложения и от лекарства не могут умереть, тем последнюю струменцию впустят - и этого уж никто не выдержит.

Генерал же думает: врет извозчик, - бросил ему деньги, а сам вбежал в больницу и вскричал:

- Попросить ко мне старшего доктора! Кто здесь старший доктор?

Старший доктор выходит - этакий в заспанном виде, и никакого особого внимания не обращает, а спрохвала спрашивает:

- Что вам угодно?

Генерал ему отвечает живо и бойко и рукой простирает, что вот так и так: "Я, - говорит, - в нынешнем лете на дачу не переезжал и остался в городе...." А лекарь его перебивает: "Вы, - говорит, - пожалуйста, покороче, а то мне из отдаленных начал слушать некогда..."

Генерал немножко рассердился и говорит:

"Я вам начинаю так, чтобы было понятно. Я вечером человека в цветочный магазин посылал за букетом и оставил его в цветущем виде, и он еще после меня пошел на садок и спевку слушал".

Но лекарь опять перебивает: "Ваше превосходительство, мне, - говорит, некогда! Нельзя ли, в чем дело?"

- Дело в том, - говорит генерал, - что этого человека взяли и увезли, и он у вас, а я желаю его к себе взять.

Старший доктор обернулся к фельдшеру и говорит:

- Справься!

А тот справился и сразу отвечает:

- Есть!

- Что же он?

- Умер. Доктор говорит:

- Вот и можете получить. Генерал и осомлел.

- Что это такое? - говорит. - Я не верю.... Всего несколько часов тому назад человек был полный жизни.... А доктор говорит:

- Это и очень часто так бывает. А впрочем, пожалуйста, служитель вас проведет и его по-

кажет! - и велел служителю: - Проводи генерала!

V

Служитель привел генерала в мертвецкий покой; но тут покойников несколько, и еще на них только нумерки лежат, а нет никакого возвания, и по лицам отличить нельзя, потому что все лица почерневшие, и руки от судорог в перстах сдерганы так, что не то благословение делают, не то растопыркою кызю представляют.

Генерал и говорит:

- Я так не могу своего человека узнать! Мне пусть покажут!

Служитель побежал в контору спросить, под каким оный номером, а генерал остался и замечает, что сзади его кто-то вздохнул. Видит, это читальщик, человек степенный, в очках, в углу стоит, но не читает, а на него сверх очков смотрит, и, как генералу показалось, - с сожалением.

Генерал его и спросил:

- Что, старина, с сожалением смотришь?

- Да, - говорит, - ваше превосходительство.

- Жутко, я думаю, и тебе в таком адском

месте?

- Да, - говорит, - но главное дело, что мне утром всегда пить очень хочется, а тут нигде лавчонки нет, В других больницах, которые строены в порядке домов, это хорошо: там сейчас как дождешь утра, так и выбежишь: квасу или огуречного рассолу выпьешь, и оживет душа; а тут эта больница на площади... ни одной лавки вблизи нет... Просто, ей-богу, даже рот трубкой стал.

Генерал вынул два пятиалтынных и говорит:

- Сходи, за моего усопшего чайку в трактире напейся.

Читальщик, разумеется, доволен и благодарит.

- Видно, - говорит, - вам дорогой человек был?

- Да, братец! Я бы ста рублей не пожалел, чтобы его поставить.

А читальщик ему и шепчет:

- Как же их поставить! У них уж все чувства убиты и пульсы заморожены, потому что ведь струменцию-то ставят под самую мышку, а в пятках под щиколоткой еще и после

смерти пульсы бьются.

Читальщик это сказал и ушел, а генерал евонный намек, на что он намекал, - понял, и как служитель вернулся и сказал, под которым номером камердинер лежит, - тот ему говорит:

- Хорошо, братец, я над ним здесь останусь, а ты поди и сейчас мне батюшку попроси, - я хочу панихиду отпеть.

Служитель опять побежал, а генерал зажег читальщикову свечечку да прямо покойника огнем под пятку... Тот враз и вскочил, а генерал его сейчас на извозчика да домой, а потом в баню, а другого человека, буфетчика, к этим же докторам с письмами послал - к старшему и к двум его главным помощникам, чтобы пришли к нему его самого лечить.

Те и рады: думают, генерал с состоянием, тут уж мы хорошо попользуемся! И притом же они были напугавшись, куда от них из мертвецкой мертвый делся; весь лишний форс с себя сбросили и пришли.

А генерал велел, чтобы как они придут и сядут, так чтобы сейчас открыть из другой комнаты дверь и чтобы камердинер, во фра-

ке, с большим подносом чаю в руках входил.

Доктора как это увидали, так все трое с кресел на пол и упали. А генерал выхватил пистолет и одному и другому помощникам груди прострелил, а старшего доктора выступкой подкинул и начал трепать его со щеки на щеку, а после, как уморился, - говорит: "Иди теперь, жалуйся".

VI

И когда няня докончила мне этот рассказ, она добавила с радостью: "Вот как!" - и я удивился. Она была женщина опытная, понятливая и осторожная, так что во всяком деле обмануть ее было нелегко, и неужели же этой нелепости она верила?

Да, она верила, или если и не верила, то хотела, чтобы это было так, потому что это ей было во вкусе.

Я с нею вступил в пререкание, приводил ей самые простые соображения и доказательства того, что такое происшествие совершенно невозможно. Она все слушала и со мною соглашалась, но вслед за тем с усиленным самодовольством добавляла: - Ну, однако, генерал докторов все-таки угостил, как заслужи-

ли! И вот так бы и всех их стоило.

- Да за что же? Какая им выгода морить людей?

- Вот, вот, вот!.. Вот это-то от них и надо узнать! И узнают....

Мне чувствуется, что эта женщина - заодно с теми, которые думают, что надо убить не "запятую", а докторов. Но, может быть, я ошибаюсь. Любопытствую у ее госпожи, у которой она служит двадцать лет и воспитала ей "гвардейцев". Спрашиваю: не слышали ли, какие няня пустяки рассказывает о генерале?

- О, - отвечает мне дама, - это она уже давно говорит... А впрочем, ведь это и все рассказывают.

- Как все?

- Да вот и у X, и у Y, и у Z девушки говорили мне то же самое, да и ваша Саша.

- Что такое - моя Саша?

- Она тоже говорит то же самое.

А "моя Саша" - молодая девушка восемнадцати лет, которая "тиха не по летам" и которую все зовут "мокрою курицей". Что же она может говорить?

Но оказывается, что и она действительно

знает о генерале, и его камердинере, и о приходящей красотке, - и сама, хоть она "мокрая курица", но очень весело сочувствует тому, что "лекарей надо бить".

VI

Захожу на другой день и лавочнику посидеть у его лавки. Лавочник человек молодой, очень приятный и обладает совершенно непосредственным красноречием. Он "из поваров", кроток, благовоспитан и благоуветлив; имеет нежное сердце, за которое и претерпевает. Он "прибыл к здешней предместности" тоже при генерале, у которого ему было "хорошо наживать", но влюбился в "этой предместности" в красивую эстонскую девушку, и они "подзаконились". Отсюда начался "перелом его жизни": у них вдвоем было пятьдесят рублей капитала, и на этот капитал они повели разностороннюю деятельность: он снял сельскую лавчонку, а она стала заниматься стиркою белья. С тех пор прошло уже несколько лет, и они во все это время неутомимо старались устроиться и кое-чего достигли: у них уже трое детей, и все прехорошенькие, но весь основной капитал ушел в пред-

приятия. Теперь они живут только одним оборотом и, кажется, сами удивляются: как до сих пор их отсюда не выгнали, или они не умерли с голоду? Но их любовь и нежное и страстное "друг ко другу стремление" не охладевают, и потому лица их, равно как и личики их детей, всегда веселы и приятны. Видеть эти счастливые лица удовольствие.

Спрашиваю я этого коммерсанта: не слышал ли он истории о воскресшем генеральском камердинере, о котором будто бы все говорят? Лавочник подумал и отвечает:

- Кажется, будто что-то слышал.

- Да, ведь это же, - говорю, - нисколько не похоже на правду.

- Не знаю, как вам изъяснить в определении факта; но мне, впрочем, это и ни к чему... Ну их!

А во мне уже разыгрывается подозрительность, что и этот мой собеседник тоже не чистосердечен и что он тоже не за докторов, а за запятую; но поговорили мы дальше, и на душе становится яснее: лавочник оказывается человеком совершенно объективным и даже сам называет уже "историю" глупостью и

припоминает, что "эта глупость пошла словно с тех пор, как стал ходить порционный мужик".

Слово это касается в первый раз моего слуха, и я спрашиваю: что это такое - порционный мужик?

- А это, - отвечает, - я так его прозвал.

- За что же?

- Да уж мал он очень, совершенно цыпленок или порционная стерлядка, которую делить нельзя, а надо всю сразу съесть... Амкнул - и нет его.... Да неужли вы его не видели?

- Не видал.

- Да вон он!

И тут я его увидел в жизни первый раз, и, вероятно, с тем, чтобы никогда его не забыть; но так как это видение стоит того, чтобы передать его в точности, то я должен обрисовать и рамку, в которой оно мне показалось.

Шмецк - это длинная береговая линия домиков, соединяющая Устье-Наровы, или Гунгербург, с мерекюльским лесом, за которым непосредственно начинается и сам знаменитый некогда Мерекюль - ныне довольно демо-

кратизованный, или "опрощенный".

Местоположение такое: море, за ним полоса плотно уложенного песку (plage), за пляжем береговая опушка из кустов и деревьев, и тут построены дачи или домики, а мимо них пролегает шоссированная дорога, и за нею лес, довольно сырой и довольно грязный.

Лавчонки, так же как и домики, построены лицом к дороге, за которою начинается лес. А потому, когда лавочник, рассказывавший мне о "порционном мужике", заключил свои слова указанием: "Вон он!" - я прежде всего взглянул прямо перед собою на лес, и первое, что мне представилось, навело меня не на ближайшую действительность, а на отдаленное воспоминание о годах, когда я жил также против леса и, Сбывало, смотрю на этот лес долго и все вижу одни деревья, и вдруг сидит заяц, подгорюнился и ушки ставит, а у меня сейчас, бывало, является охотницкая забота: чем бы его убить? И в это время что-то около себя хватаешь, а опять взглянул - зайца уж и нет!

Теперешнее видение было совершенно в этом роде: на серо-зеленом туманном фоне

стояло что-то маленькое и грязно-розовое; но прежде чем я мог хорошо рассмотреть, что это такое, оно уже и сникло,

- Боится, - проговорил лавочник.

- Чего же он боится?

- Запуган, знаете.... бедность.... Смотрите, смотрите! Вон он где, ниже на дорожку выходит.

И с этим лавочник заложил себе за губу два пальца и пронзительно свистнул.

Порционный мужик вздрогнул и оглянулся.

- Иди-ка сюда, Лишенный! - позвал его лавочник.

"Лишенный" к порционному мужику прилагалось вроде обозначения звания: так теперь зовут административно "высланных" или "лишенных столицы", Мужичонко молча вернулся и пошел, и по мере того, как он ближе к нам подходил, я мог яснее его рассматривать. Лет его нельзя было определить с точностью; у него такое лицо, что ему может быть между двадцатью и пятьюдесятью. Рост крошечный, как рост пятнадцатилетнего мальчика; худ точно скелет, но обтянутый не ко-

жею, а вылинявшею и выветренной набойкой; губ нет вовсе - открыты два ряда превосходных белых зубов; нос тоненький и свернувшийся, как корешок у сухой фиги; два глаза небольшие, круглые, как у птицы, и оба разного цвета, как у знаменитого Анастасия Дирахита: в одном глазе зрачок чистый, голубой, а в другом весь испещрен темными штрихами и крапинами, и оттого кажется коричневым; бороденка и волосы на голове - это все какие-то клочья. На голове шапки нет, бос и почти что наг, потому что весь убор его состоит из порток и рубашки: портки из набойки, изношенные до лепестков; они спускаются только немножечко ниже колен и оканчиваются "бахмарою". Рубашка была когда-то из розовой пестряди, но теперь это одна розовая грязь.

Гейне видел в Пиренеях над бездною нищего испанца, который был покрыт лохмотьями, и "у него гляделась бедность в каждую прореху; из очей глядела бедность", но "исхудалыми перстами он щипал свою гитару". {"Атта Троль". (Прим. автора.)} И описание этой бедности разрывало душу людей чув-

ствительных и добрых, а испанец все-таки был "в лохмотьях" в теплом климате, и у него была еще "своя гитара"....

Западные писатели совсем не знают самых совершенных людей в этом роде. Порционный мужик был бы моделью получше испанца с гитарой. Это был не человек, а какое-то движущееся ничто. Это сухой лист, который оторван где-то от какого-то ледащего дерева, и его теперь гонит и кружит по ветру, и мочит его, и сушит, и все это опять для того, чтобы гнать и метать куда-то далее....

И видишь его, и не разумеешь: в чем же есть смысл этого существования?

"Господи! что сей сам или родители его согрешили, и как проявятся в нем дела божии?!" Неужели если бы птицы исклевали его в зерне или если бы камень жерновый утопил его в детстве, - ему тогда было бы хуже?

Конечно, "весть господь, чего ради изнемождает плоть сынов человеческих", но человеку все-таки будет "страшно за человека"!

VIII

Он подошел и стал и никому не сказал ни

слова.... Босые ноги его все в болотине, волосы шевелятся.... Я близорук, но я вижу, что там делается. Руки его висят вдоль ребер, и он большими перстами запнул их за веревочку, которою подпоясан. Какие бедные, несчастные руки! Они не могли бы щипать гитару.... Нет, это какие-то увядшие плети тыквы, которую никто не поливал в засуху. Глаза круглые, унылые и разного цвета - они не глядят ни на что в особенности, а заметно, что они все видят, но ему ничто не интересно. За щеками во рту он что-то двигает; это ходит у него за скулою, как орех у белки.

С этого и началась беседа. Лавочник спросил у него:

- Что ты, Лишенный, во рту сосешь? Он плюнул на ладонь и молча показал медный грош и сейчас же опять взял его в рот вместе с слюнями...

- Хлеба купить желаешь?

Порционный отрицательно покачав головою.

Лавочник в его же присутствии наскоро изъяснил о нем, что он "из-за Москвы", - "оголел с голоду": чей-то скот пригнал в Петер-

бург и хотел там остаться дрова катать, чтобы домой денег послать, но у него в ночлежном приюте какой-то странник украл пятнадцать рублей и скрылся, а он с горя ходил без ума и взят и выслан "с лишением столицы", но не вытерпел и опять назад прибежал, чтобы свои пятнадцать рублей отыскивать.

И когда рассказ дошел до этого, порционный отозвался; он опять выплюнул на руку грош и сказал:

- Теперь уже не надо.

Голос у него тоненький и жалостный, как у больных девочек, когда они обмогаются. - Отчего же не надо?

- Детки померли....

- Разве ты письмо получил?

- Нет; журавли летели да пели,

- А где же твоя жена?

- К слепым пошла. Слепым-то ведь хорошо жить: им подают... им надо стряпать...

Мы все замолчали, - кажется, мы все страдали, а он, без сомнения, всех больше; но лицо его не выражало ничего!

- Убитый человек! - прошептал нищий лавочник, - в рассудке решается, и подал ему

булку.

Тот ее взял, не поблагодарив, сунул за локоть и опять опустил руки вдоль ребер.

- Съешь! - сказал лавочник.

Мужик не отвечал, но взял булку в руку, подержал и даже что-то с нее хотел счистить, и опять туда же сунул, за локоть.

- Не хочешь есть?

- Не хочу... детям снесу.

- Да дети ведь померли!

- Ну так что ж... Им там дадут, в раю, по яблочку.

- Ну да; а ты булку сам съешь.

Мужик опять взял булку в руки, опять снял с нее то, что ненадлежаще явилось, и затем вздохнул и тихо сказал:

- Нет; все-таки пуцай лучше детям. Лавочник посмотрел на него вздвигнул плечами и прошептал:

- Господи! тоже и родитель еще называется! Мужик это услышал и повторил:

- Родители.

- И все чувства к семье имеешь?

- А то как же!

- А какое твое вперед стремление?

- Не знаю.

- Расскажи барину, как генерал докторов бил... Барин тебе тоже на хлеб даст: может быть, в Нарву съездишь, а там какую-нибудь работу найдешь.

И порционный сейчас же начал сразу ровным, тихим голосом всю ту историю, которую я передал уже со слов своей знакомой няни, но только порцион ее излагал в самом сильном конкрете: "Жил возле рынка генерал... имел верного слугу-камердинера. Отлучился в киятер, а верный камердинер к себе приходимую кралю принял чай пить.... как вдруг ему резь живота.... Взяли его и стали над ним опыт струментом пробовать, все чувства угашили, но в подщиколке еще пульс бил. Генерал его восхитил - и в баню; потом позвал докторов в гости, а камердинеру велел войти и чай подать... Те и попадали... А генерал двух расстрелял, а третьего в морду набил и сказал: "Ступай, жалуйся!"

Этим все и кончилось.

Я дал мужику два двугривенных и хотел ему собрать завтра между знакомыми все пятнадцать рублей, которые у него странник

украл. Он мои двугривенные кинул себе в рот (карманов у него, как у настоящего праведника, не было). И затем он ушел и более уже в наших местах не показывался. Я уж думал, не повлек ли его рок в Нижний за краткой развязкою?...

IX

А тем временем приезжает с кем-то извозчик из Нарвы и говорит, что к ним ждут генерала Баранова и полк артиллерии.

- Для чего же?

- Да на фабриках, - говорит, - очень живой разговор пошел.

- О чем?

- Все об струменте.

А дальше рассказывает, что у них дело будто уже и разыгралось таким образом: пошел будто у них какой-то доктор на Нарову купаться, разделся и стал при всех глупость делать: спустил на шнурке с мостка в воду трубку и болтает ее и взад и вперед водит. Пополоскает, пополоскает и опять вытянет, поглядит и опять запустит... Люди увидели это, и несколько человек остановились, а потом вскричали ему: "Доктор, мол, доктор! Слышь-

ко, оставь, мол, лучше эту... струментацию-то! Полно тебе ее полоскать!.. Оставь же, мол; а то нехорошо будет!" А он не послушался и еще раз закинул.

Ну, уж тут его один по голой плоти хворостиной и дернул, И стали приставать. "Поддай инструмент, мы его отнесем узнать: что там насажено". А он первой же хворостины испугался и бежать, и инструмент с собой... Ну, тогда, разумеется, за ним уж и многие рушили, и кои догоняли, те били его; но слава богу, что он резво бежал; а если бы он, на грех, споткнулся либо упал - так насмерть бы убить могли. Доктор успел вспрыгнуть "а извозчика и в полицию голый так и вскочил.... Тут после и пошли по всем сходным местам и трактирам сходиться все фабричные и их эти тоже приходимые красотки и пошли говорить по-русски и по-эстонски, для чего же полиция могла скрыть такого человека, который не постыдился при всех в воде через инструмент микробу впускать... И теперь беспокойства, и ждут, что с одной стороны выедет губернатор из Ревеля, а с другой вступит граф Баранов - и начнет всем публиковать свои правила.

"Инструмент" и "приходимые красотки" - это прямо отдавало тем самым источником, из которого были почерпнуты первые материалы для легенды, получившей свое развитие у нас на рlage. Ветер или вода, значит, занесли "запятую" прежде всего туда, в наше фешенебельное место; но там, на рlage, "запятой" "среда не благоприятствовала", и запятая не принялась, или, культивируясь, вырожда-лась во что-то мало схожее и постороннее: а вот тут, когда она попала в среду ей вполне благоприятную, она "развила свои разведе-ния".

А что это была именно она, та самая "запятая", которую мы видели и не узнали, а еще сунули ей в зубы хлеб и два двугривенных, то это вдруг сообразили и я и лавочник. И лавочник к тому имел еще и "подтверждение на факте", так как он сам ездил на лошади в Нарву за товаром, и когда назад возвращался, то порционный мужик сам явился ему за городом: он совершенно неожиданно поднялся к нему из мокрой канавки и закричал: "Журавли летят! Журавли! Аллилуйя!" Но только лавочник на этот раз был уже умнее: он те-

перь знал, что порционный мужик - человек опасный: лавочник поскорее хлестнул лошадь и хлеба ему не кинул, а кнутом ему погрозил да прикрикнул:

- Вон граф Абрамов наступает с публикацией - он тебя удовлетворяет! А на "порционном" как раз, кстати, теперь уже и рваных порт совсем не было, так что и легко было его "удовольствовать"... Но сумасшедший дом, однако, мог бы без греха укрыть его от этого "удовольствия".

Х

Вот и весь сказ о запятой. Тут налицо все: какая у нее видимость и умственность, что у нее за характер и какова она в словах и в рассуждении своего влияния на мозг человеческий. Кажется, ничто особенно хитро не задумано и не слажено: что есть, то все взято без всякой пропорции, не на вес, а на глазомер, или, еще проще, - сколько влезло. Во всяком случае, всего менее попало сюда злого намерения и расчета. Этого снадобья тут не более, чем поэзии Фета, которая участвует в составе преступления "запятой" только одним стихом: "Приходи, моя милая крошка". Таким об-

разом, муза поэта, ненавидевшего народные несуразности, изловлена где-то в то время, как она гуляла в ароматном цветнике или неслась над деревнею по воздуху, слетев с уст певицы, "запузыривавшей" за фортепианом в дворянском доме. Аф. Аф. Фет, верно, был бы недоволен тем, что серый народ без толку тормозит его "милую крошку", но вины Фета в том нет. Столько же виновата и вся действительность. Ветер лист сухой гоняет и треплет, и он то летит, то катится, то гниет в грязи, и потом опять сохнет, и опять из темных мест поднимается. Вот это самое действительное и несомненное; все остальное - зыбь поднебесная, марево, буддийская карма, которая всем точно снится... Никакого первого заводчика песни и сочинителя легенды нет. Порционный мужик, конечно, не сочинял "бедную крошку". Где ему! Он получил ее уже готовую, и за горем своим он развивал ее гораздо слабее, чем все другие импровизаторы... За что же его так участь жестока?

О господи! сжался над ним, да сошли и нам просвещающую веру вместо суеверия!

Из всех "запятых" самые ужасные - те, ко-

торые скрываются во тьме суеверий.

Примечания

Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, том одиннадцатый, СПб. 1893, с исправлением опечаток и погрешностей текста по журнальной публикации.

Впервые напечатано в журнале "Книжки "Недели", 1892, декабрь. Текст, напечатанный в одиннадцатом томе, существенно отличается от журнальной редакции. В процессе подготовки рассказа к Собранию сочинений Лесков провел значительную стилистическую правку.

Рассказ написан осенью 1892 года. Основу его составили впечатления от холерной эпидемии, широко распространившейся летом 1892 года. Фактическая точность рассказа была подтверждена авторами критических отзывов. По поводу "Импровизаторов" критик "Русской мысли" писал: "В картинке с натуры "Импровизаторы" автор передает виденное и слышанное им во время прошлогодней холерной эпидемии... Автор в живом, мастерском рассказе передает, как складывались и развивались среди низших классов верова-

ния в то, что "в Петербурге уже народ отравляют" ("Русская мысль", 1893, э 7, стр. 300).

Приходи, моя милая крошка... - строки из стихотворения А. Фета (1820-1892) "Только станет смеркаться немножко"...

Смирнова, С. И. (1852-1921) - писательница, автор многих романов, рассказов и фельетонов; сотрудница "Нового времени".

Тургенев изобразил, как говорит с простолюдином интеллигент и раскольничий начетчик. - Имеется в виду письмо Нежданова (роман "Новь"), в котором речь идет о необходимости веры в то, что говоришь, как основном условии воздействия на сознание народа: "Уверяют, что нужно сперва выучиться языку народа, угнать его обычаи и нравы... Вздор! вздор! вздор! Нужно верить в то, что говоришь, а говори, как хочешь!" Дальше Нежданов говорит об успехе проповеди раскольничьего начетчика и неуспехе своего обращения к народу: "А я начну говорить, точно виноватый, все прощения прошу" (И. С. Тургенев, роман "Новь", гл. XXX).

Малороссу, чтобы его растрогать, надо, чтобы ему свой брат сказал: "граю и воро-

паю". - Намек на следующее место из романа Тургенева "Рудин", гл. II; "...Стоит только взять лист бумаги и написать наверху: "Дума"; потом начать так: ..грае, грае, воропае, или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе... Малоросс прочтет, подопрет рукою щеку и непременно заплачет... Что вы это такое говорите?.. Я жил в Малороссии... "грае, грае, воропае" совершенная бессмыслица".

Генерал Баранов. - Н. Н. Баранов (1836-1901) - губернатор в Нижнем Новгороде (1883-1897), прославившийся своими полицейскими приказами.

...в военном образце с поперечиной. - Поперечина - знак отставки на погонах.

..."у него гляделась бедность в каждую прореху, из очей глядела бедность"... и далее. - Имеются в виду следующие стихи Гейне (1797-1856):

На мосту сидел испанец,
Музыкант в плаще дырявом;
Нищета гнездилась в дырах,
Нищета из глаз глядела.
Струны старой мандолины
Он терзал костлявым пальцем.

Эхо в пропасти, дурачась,
Передразнивало звуки. "Атта Тролль", ч. II,
в современном переводе
В. Левика.

Буддийская карма (от санскр. karma - действие, дело) - одно из основных положений буддизма, заключающееся в утверждении, что сумма добрых и греховных деяний человека влечет за собою после смерти либо перевоплощение (для грешников), либо погружение в блаженное небытие, нирвану (для праведных}; Здесь - слепая вера.